Избранное

1

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Очерк о путешествии по Советской Прибалтике.

- Ион Друцэ
  - Хранители домашнего очага
  - Белые свечи Эстонии
  - Литовские березы
  - Место, где упал художник
  - Моцарт в конце лета
  - Комментарии

Ион Друцэ
Моцарт в конце лета

Хранители домашнего очага

Страна моя, Эстония… Сначала о земле или, если хотите, о хлебе, что, в общем, одно и то же. Писать об эстонской земле сложно, потому что Эстония — сугубо «морская» республика. Протяженность ее береговых линий, включая бесчисленные острова, около трех с лишним тысяч километров. Существует даже поговорка, что эстонец приходит в мир не то с удочкой, не то с веслами. И все-таки сначала о земле. Она — колыбель нации. Куда и на чем бы ни плавал эстонец, в конце концов он вернется сюда, на свою землю, и все то, о чем ему мечталось на море, он создаст здесь, на земле. Но море тоже не уйдет насовсем из его жизни, и, может, потому в каждом эстонском домике у входа красуется совершенно круглое, как иллюминатор, окошко, а сами дома ухожены и убраны, как ухожены и убраны обычно только корабли.

Итак, стало быть, о земле. По иронии судьбы эта горячо любимая эстонцами земля, если подойти к ней без символов и высокой поэзии, на редкость скупа и сурова. Небольшие просветы в хвойно-лиственном мелколесье скрывают в своей заболоченной почве одни камни, да глину, да невыкорчеванные пни. Эстонские крестьяне, очистив эти участки семь или восемь веков тому назад, до сих пор копаются в них. И сегодня они так же, как и их далекие предки, носят камни на себе, выкорчевывают пни, так что в эстонском понимании крестьянин означает не столько «человек, обрабатывающий землю», сколько «человек, выкорчевывающий пни да осушающий болота».

И тем не менее она очень красива, эта эстонская земля. Зелень не такая темная, как на юге, но более сочная и обильная. Природа раскрепощена, сыта и достойна. Это, разумеется, достигнуто не без человеческого труда, но труд этот так упрятан, что его почти не видно. В природе очень важно сохранить чувство разумного равновесия, чувство естественной гармонии — эстонцы это отлично понимают. Две березки посреди небольшой пшеничной поляны — это может быть хорошо, но может быть и плохо. Зависит, как на это посмотреть. Хорошо, может быть, потому, что красиво, гармонично. Плохо потому, что трудно механизировать работы на столь малом участке да еще с двумя березками посредине. Эстонцы предпочитают куролесить на тракторе, убирать вручную, но две березки посреди поляны у них стояли пятьсот лет тому назад, стоят они и сегодня.

Реки, озера, опять жиденькие леса, а внутри их небольшие просветы обработанных земель. На каждом из таких участков

высится памятник мужественным хлеборобам — высокая гора валунов. На одних землях эти курганы заросли чертополохом, в других местах камни еще свежи, со следами спекшейся глины на них. Но камни и пни — это еще полгоря. Страшнее для эстонского колхозника болота — излишняя увлажненность почвы. Нет такого участка в Эстонии, по которому бы не бежали глубокие, в человеческий рост, канавы, и с ранней весны до поздней осени эти траншеи наполовину заполнены водой. А тракторы урчат на полях днем и ночью, прорывая новые или прочищая старые канавы.

Камни, болота, пни — в конечном счете начинаешь спрашивать себя: а не слишком ли дорого платит эстонец за те скудные дары, которые он получает от своей земли? Да ведь как сказать! Хлеб насущный, он насущный и есть, и тут уж неважно, во что он обходится. Человека должна прокормить земля, на которой он живет, — это старинный союз, заключенный нашими предками с землей, на которой они осели, и этот союз должен быть для нас свят. Хотя трезвый и рассудительный эстонец не хочет забыть, во что ему обходится хлеб насущный. Во многих булочных красуется на стенах выжженный по дереву или отчеканенный на пластинке металла образ крестьянина, взвалившего себе на плечи огромный валун. Есть много мудрости в том, как исполнен и где висит этот символ. И неудивительно, что эстонец никогда не отрежет себе больший кусок хлеба, чем ему нужно, и сколько я ни ездил по республике, нигде не видел, чтобы в местах общественного питания на столах оставался недоеденный хлеб.

В этом целомудренном отношении к хлебу насущному есть нечто глубоко нравственное. Этим эстонец живет, на этом он воспитывает своих детей, и должен сказать, что здесь на редкость трудолюбивая и вдумчивая детвора. Они помощники в доме, помощники в поле. Дети самых обеспеченных семейств уходят летом на сезонные работы. Каждый подросток знает, сколько он примерно заработает за лето и на что употребит свой заработок. Подростки красуются в кофточках, купленных на собственные деньги, катаются на собственных велосипедах, гоняют на лугу купленный в складчину мяч. И, думается мне, ничто не может развить в подростке чувство независимости и самостоятельности больше, чем эти летние недели, проведенные на работах вместе со взрослыми.

Я долго высматривал на улицах эстонских городов милую всем нам картину — воспитание своего ребенка на глазах честного народа. За месяц я не видел ни одного публичного отчитывания, точно эстонцы всему научили своих малышей еще в

пеленках. Правда, не нужно упускать из виду, что эстонцы по природе своей на редкость молчаливы. Они молчат дома, в кругу семьи, молчат на работе, молчат в дороге, но, поскольку живому человеку столь долгое молчание в конце концов становится невмоготу, они собираются по вечерам в кафе, каких здесь великое множество. По вечерам в эстонских кафе стоит ни с чем не сравнимый шум и гам, а к полуночи все стихает.

Может, потому, что они в большинстве своем выросли на хуторах, а хутор в Эстонии — это два-три домика, окруженных тишиной и лесами, эстонцы встают очень рано, хватки до работы, точно до сих пор каждый из них имеет свое хозяйство, за которое он отвечает перед самим собой. Эстонцы все время что-нибудь да придумывают, что-нибудь да мастерят. Причем, не успев завершить одно дело, они уже замышляют другое, так что работы у них всегда хоть отбавляй.

О, эти удивительные руки эстонца, чего они только не придумают, на чем они только не оставят свой след! Человек, плохо делающий свое дело, здесь все равно что пропащий человек. Для эстонцев это явление не столько экономического, сколько нравственного порядка. И надо сказать, они многое умеют делать. Народный умелец сидит в каждом эстонце, вопрос только в том, до какой степени ему удалось раскрыть себя.

Эстонское всеумение — это явление в высшей степени любопытное. В век сплошной автоматизации, в век ракет и атомной энергии они находят тысячи способов, чтобы отточить свое умение, и этим своим пристрастием они и не думают поступаться. Даже если это идет вразрез со здравым смыслом. Казалось бы, какой резон сегодня шить и вязать на себя, когда вокруг столько швейных и трикотажных комбинатов; казалось бы, зачем постигать тайну каменщика, плотника, маляра, когда вокруг идет массовое строительство, а для индивидуальных застройщиков готовятся целые комплекты и узлы; казалось бы, зачем в домашних условиях ткать ковры и дорожки, упражняться в кулинарных премудростях, когда все это можно купить в магазине, а время, потраченное на эти мелочи, можно было бы использовать с большей пользой?!

Но тут выходит на первый план очень интересная и своеобразная логика эстонца. Конечно же, самому себе строить дом, украшать его изделиями своих рук, садовничать на крохотном пятачке — все это экономически невыгодно, однако одной экономикой жизнь ведь не исчерпывается. Есть еще и нравственная сторона дела, и дальше за экономической невыгодностью начинается глубочайший смысл нашего бытия. Начинается процесс творчества, процесс воспитания вкуса,

процесс становления человеческой личности. И то, что будет найдено здесь, на малом поле труда, будет вынесено потом на большое поле, в государственном масштабе. И не потому ли здесь колхозные поля так же чисто убраны и ухожены, как и приусадебные участки, не потому ли на окнах сельсоветов висят кружевные занавески и самый неказистый шофер Эстонии не сядет за руль, если у него в кабине не будет цветочка, хотя бы искусственного.

При всем этом в Эстонии вечно не хватает поля для приложения своего индивидуального умения. Над этим бьется каждый в отдельности, об этом печется правительство республики, и вот уже в Таллине появилась уникальная в нашей стране организация по имени Уку. В эстонских народных преданиях Уку хранитель домашнего очага. И он действительно появился в Таллине, чтобы постоять за быт эстонцев, чтобы сохранить и украсить его. Смысл этой организации в следующем. Каждый эстонец, любящий и умеющий делать предметы домашнего быта, может прийти сюда и получить консультацию художника-прикладника, может получить нужный материал — шерсть, кожу, металл, дерево. С этим материалом да еще с добрым напутствием художника эстонец уходит, и начинаются длинные вечера поиска. А потом, если вещь будет удачна, Уку приобретает ее, причем на весьма выгодных условиях. Затем человек опять приходит и снова получает советы и материал. Работают здесь только на дому, и хотя организация эта еще очень молода, уже несколько тысяч человек работают в ней.

Продукция Уку с невероятной быстротой пробила себе дорогу на внешних рынках всего мира, так что сегодня даже в самом Таллине не так-то просто приобрести вещь с этой маркой.

Конечно, говоря о склонности эстонцев к ремесленничеству, не нужно упускать из виду, что склонность эта имеет свои исторические корни. Таллин, крупный морской порт, еще в X веке славился изделиями своих ремесленников. На протяжении 700-летнего иностранного ига ремесленники пользовались особым статусом, предоставлявшим их общине определенную автономию. Ремесло для эстонца было не только делом хлеба насущного — для него оно было еще и глотком свободы, и, видимо, эта склонность к тому, чтобы уметь что-либо делать в совершенстве, так долго передавалась из поколения в поколение, что в конце концов стала чертой национального характера.

Жить богато — это штука не такая уж простая, но вполне достижимая в наше время. Жить красиво — это воистину редко кому дано, для этого нужно иметь и необходимые условия, и особый божий дар.

Было бы, разумеется, неверно утверждать, что эстонцы живут по заранее заготовленным правилам, живут в сплошной гармонии. Им тоже не чужды те грехи, которые встречаются всюду, знакомы им и зависть, и обида, и месть; они не прочь соперничать друг с другом, но только соперничают не они сами, а их дела. Существуют разные школы строения домов, разные направления в теннисном спорте, разное понимание духа народных песен, разные стили прикладного искусства. Но все это опять-таки без слов, молча, подспудно, все это, кажется, происходит помимо них и без их прямого участия. Сами они вечно заняты, у них нет времени, чтобы общаться, они даже как будто и не замечают друг друга.

Не могу забыть свою первую поездку из Пярну в Таллин. Сто сорок километров, около двух часов езды. Едем в отличном, очень популярном здесь автоэкспрессе. За окном туманное, дождливое утро, в машине уютно и тепло. Мягкие откидные кресла, отличный шофер, интеллигентная публика. Удивительная, как в степи в день безветрия, тишина. Слышны только мягкий шелест газет да отдаленный рокот мотора. И то ли потому, что дорога в прекрасном состоянии, то ли потому, что шофер мастерски вел машину, то ли потому, что в окна бил мелкий, с туманом, дождь, но на каком-то километре вдруг создалось ощущение, что мы летим, что где-то далеко под нами Балтийское море.

Едем и молчим. И снова молчим и опять же едем. Сто сорок километров, два часа четыре минуты — и ни единого слова. Причем надо иметь в виду, что автобус несколько раз останавливался в пути, часть пассажиров сошла, их места заняли другие. А еще в глухом лесу женщина-инспектор остановила автобус и проверила билеты, и раза два туристы голосовали, чтобы подвезти их, и шофер тормозил, давая им возможность убедиться, что машина занята. И все это молча, молча, молча.

Таллин вырос на нашем пути как единственное спасение, в которое я уже не верил. Мне казалось, что еще десять-пятнадцать километров — и я не выдержу, запою или начну декламировать молдавскую народную балладу Миорицу. Что до моих спутников, то они только-только вошли во вкус. Они выходили из машины с чувством глубокого разочарования. Здесь была столица, тут трудно было устроить свои дела молча, а обретать заново дар речи им явно не хотелось.

Стоял теплый июльский день, столица Эстонии сверкала от ярких национальных нарядов. Через день на стадионе ожидалось открытие смотра народных танцев. Каждый хутор выставил свой коллектив, у каждого коллектива был свой наряд, расшитый своим узором, — тысяча хуторов, тысяча коллективов, и ни

одного повтора красок, нарядов, узоров. Эстонцы хорошо танцуют, но что творилось на второй день на стадионе, не берусь судить, потому что, увы, мне не удалось достать билета. Ни командировка «Литературной газеты», ни писательская книжка, ни ходатайство сотрудников ЦК партии Эстонии не смогли помочь. Увы, местный стадион вмещал только двадцать тысяч человек. На три дня представлений было продано шестьдесят тысяч билетов, а то, что сверх шестидесяти тысяч можно продать еще один билет, — это в Эстонии не практикуется. Если нет свободного места, как же можно продать вам билет!!

А спрос на эти представления был воистину ошеломляющ — были поданы заявки на четыреста тысяч билетов. Если учесть, что эстонцев вообще немногим более миллиона, то можно представить себе картину — половина народа решила собраться вместе, чтобы посмотреть, как танцует ее вторая половина. Причем это были танцы, а самая большая слабость эстонца — это пение, знаменитое хоровое пение, снискавшее себе славу во всем мире.

Певческое поле — это, может быть, самое интересное, самое удивительное, что только можно видеть в Эстонии. При всей их молчаливости и внешней отчужденности невидимые нити духовного родства удивительно прочно связывают эстонцев в одну семью, и один из самых молчаливых народов на свете вдруг собирается на Певческом поле в тридцатитысячный хор и под руководством знаменитого Густава Эрнесакса поет «Песню о родной земле». Отпраздновав ежегодно свои песни и танцы в столице, они разъезжаются по хуторам и так же хватко, сноровисто, так же молча принимаются за дело.

И чтобы уж исчерпать до конца тему об эстонской молчаливости, не могу не упомянуть еще об одной ее разновидности. Признаюсь, что, когда я готовил впервые очерк для газеты, я решил было пропустить эту историю, сделав вид, что ничего этого не было. Мало ли что может случиться в жизни, а воспитанные люди на то и воспитаны, чтобы не все увиденное заносить на бумагу. Но время шло. Я еще несколько раз съездил в Эстонию и понял, что первый случай вовсе не был таким уж случайным, а жестокость нашей профессии заключается в том, что каждую строчку мы должны поддержать золотом достоверности, если хотим, чтобы наши сооружения выдержали испытание временем.

В тот мой первый приезд мне срочно нужно было попасть с автовокзала на вокзал железнодорожный. В общем, это где-то рядом, но человеку, впервые приехавшему, неизвестно, на что сесть и как доехать. И начинаются расспросы. Мне и раньше

говорили, что эстонцы не очень приветливы у себя дома, но я этому не верил, и теперь предстояло проверить это утверждение, благо подвернулся случай. Из большого потока людей я выбрал крепкую, мускулистую девушку-эстонку с длинными льняными волосами. Она меньше других спешила, шла себе вразвалочку, с сумкой через плечо и, когда я к ней обратился, сошла даже с тротуара, чтобы не мешать движению. Молча выслушала, причем по лицу видно было, что она понимает по-русски, даже поначалу приоткрыла рот, чтобы ответить, но потом, нахмурившись, повернулась и ушла, как говорится, не сказав ни единого слова.

Направил меня на должный путь какой-то старик, учившийся когда-то в петербургской гимназии и очень гордившийся этим. Оказывается, нужно было тут же, рядом, сесть на второй трамвай и проехать две остановки. В переполненном вагоне трамвая я увидел рядом ту же мускулистую девушку с льняными волосами и с сумочкой через плечо — она ехала в том же направлении и тем же трамваем. Увидев меня, она нисколько не смутилась. Наоборот, ей даже показалось забавным: скажи на милость, кто-то все-таки направил.

По иронии судьбы мы уезжали в Пярну одним и тем же автобусом, и наши места были рядом, и два часа, до самого Пярну, она сидела рядом, читала газету, ела мороженое, потом дремала, тихо посапывая, — никакого угрызения совести, что была в тот день с кем-то неучтива. Хотя была она молода, довольно симпатична, и, как говорится, «не судите, да не судимы будете».

Кстати, раз зашла речь о молодежи, поговорим о молодых. Влюбленных пар здесь великое множество, причем они не ищут укромного местечка, им отчего-то не сидится, все они куда-то едут, все они на виду. Их полно в автобусах, в самолетах, в машинах, в поездах. И в том вечернем поезде, которым я уезжал из Эстонии, тоже было полно молодых пар.

Очень интересно наблюдать за ними. В своих взаимоотношениях они ровны, собранны, целомудренны. Едут тихо, каждый сам по себе, — просто так оказалось, что они сидят рядом, а так они каждый сам по себе. Порой даже кажется, что они вовсе незнакомы меж собой, но из чего-то все-таки следует, что оба они — одно целое, и это будет целым надолго, может быть, навсегда.

На светло-голубом небе, до самого Ленинграда, стелется чешуя белых облачков. Мелькают сосновые боры, острокрышие домики, озера. Пшеничная поляна с двумя березками посредине, гора заросших валунов, железнодорожная будка, окруженная цветочными клумбами, и вдруг я подумал: как все в этом мире

относительно! Мы считаем эстонцев молчаливыми не потому, что они молчаливы на самом деле, а потому, что сами невероятно много говорим. А между тем слово — величайшее чудо человеческого бытия. Словом надо пользоваться скупо, умело, дабы не расплескать тот изначально древний смысл, который в нем таится. К тому же слово — это ведь не единственное средство, при помощи которого человек утверждается. Деяние наших рук — тоже одно из средств утверждения человеческой личности. И еще вопрос: что главное, что лучше, что долговечнее.

Белые свечи Эстонии

На побережье стояло всего четыре домика. Самый крайний, деревянный, с мансардой, был заперт на замок. Чистые, посыпанные песочком дорожки, цветочные клумбы, на крылечке сытая кошка дремлет на солнце, и ни одной живой души. Было раннее воскресное утро, и я подумал, что в таких глухих местечках, когда уходят по воскресеньям да еще с утра, то это надолго.

Второй дом, упрятанный в глубине сада, казался более приветливым, правда, добрая его половина пряталась под старой липой, и пока я, открыв калитку, старался приладить ту половину, что смотрелась свободно, с той, которая пряталась в тени, с крыльца спустилась молодая, в очках, женщина, очень похожая на сельскую учительницу. Я улыбнулся и выложил свой вопрос во всех четырех вариантах, придуманных только что на автобусной станции. Женщина в очках тоже улыбнулась и ответила самым обстоятельным образом, но поскольку она ничего не смыслила в русском, а я еще меньше понимал эстонский, то всему нашему разговору была грош цена. Я улыбнулся ей на прощание, она тоже ответила улыбкой, и на этом со вторым домом было покончено.

Во дворе третьего дома, недостроенного и нежилого на вид сооружения, двое подростков запрягали в плужок красивую, откормленную лошадь. Это, видимо, болезнь возраста. Где бы они ни подрастали, какой бы жизнью они ни жили, наступает у мальчишек в определенном возрасте потребность оседлать или запрячь коня, и когда они до этого дорвутся, то слепнут и глохнут от счастья. Постояв у калитки третьего дома некоторое время, я пошел дальше; тем более что сам дом был недостроенный, неуютный.

Последний, четвертый дом оказался большим двухэтажным строением. Лес в нем стоял еще крепкий, хотя внешняя облицовка и крестовины окон почернели, а крошечный балкончик на втором этаже совсем покосился, и видно было, что уже лет пятнадцать по крайней мере не ступала на нем нога человека. Большой яблоневый сад, посаженный с размахом, теперь зачах в запустенье. Дорожка и клумбы заросли так, что не сразу поймешь, где дорожка, а где клумба; забор так и стоял в том потрепанном состоянии, в котором оставили его зимние метели.

Веяло какой-то обреченностью от этого четвертого дома, на нем лежала грустная печать не до конца состоявшейся человеческой жизни. Торчать у этого дома было нечего, а уходить

тоже было не с руки. Приличия требовали, чтобы я постоял еще некоторое время, и я стоял, и оглядывался, и диву давался, потому что место и в самом деле было удивительной красоты.

Вероятно, здесь когда-то располагался большой поселок, но, как говорят англичане, идите по нашим костям, и вы дойдете до своих собственных костей. И нет поселка, осталось всего четыре домика. А жизнь идет своим чередом, кругом растут корабельные сосны, липы, тополя, каштаны. Они растут в художественном беспорядке, в той дикой привольности, при которой деревья становятся великанами. Если, однако, внимательно разглядеть их, то можно угадать, как стояли раньше дома в поселке, какие дороги и куда вели. Эти четыре домика и улочка, на которой они стоят, были окраиной поселка — может быть, бедной, далекой окраиной, и вот поди ж ты: окраина осталась, а поселка нету. Четыре старых домика тонут под увесистыми крыльями зеленых великанов. За ними виднеются картофельные приусадебные участки; дальше пастбища, крупные валуны, а за валунами глухо шумит залив, покрытый мелкими кудряшками волн.

Время шло, а я все еще торчал у того четвертого домика. Было отчего-то грустно и не по себе. Завела меня в те края бойкость художественной фантазии. Накануне, будучи в Таллине, я изнывал от жары и имел неосторожность высказать это вслух. Оказалось, сами таллинцы не меньше меня изнывали, но правила хорошего тона не позволяли им затрагивать эту деликатную тему. Поскольку норма уже была нарушена, они вдруг пустились рассуждать, куда бы хорошо поехать отдохнуть. И этот конкурс на тему о том, кто лучше знает свой край, захлестнул буквально всех моих знакомых.

В редакции еженедельника «Серп и молот», когда речь зашла о той же самой жаре, очень милая и словоохотливая переводчица посоветовала мне поехать отдохнуть в Хяядемээсте. По ее словам, лучшего места нет во всей Эстонии, а поскольку название этого местечка трудно для запоминания, она, чтобы как-то облегчить мне задачу, сказала, что Хяядемээсте в переводе на русский означает «Красивые мужчины». Вернее, даже не «Красивые», а «Хорошие мужчины», поправилась она.

Я очень люблю емкие, точные, упругие названия. Для меня найти точное название рассказа — это уже половина работы. А тут все было в готовом виде, улов сам шел в сети, и нужно было только не зевать. В моем воображении сразу вспыхнул сказочный поселок на берегу Рижского залива, я уже был готов немедленно пуститься в путь. Переводчица, несколько испугавшись такого эффекта, начала деликатное отступление. Она говорила, что, конечно, природа там прекрасна, но с питанием сложно, всего

один буфетик рядом с автостанцией, а от самой автостанции до поселка и до моря километра два, а то и все три будут. Хорошие дома в новом поселке, рядом с автостанцией, а там, на берегу залива, домов мало, там больше всего живут в палатках, но палатка — это ведь на любителя…

Увы, было уже поздно — в моей душе Хяядемээсте обрастало героями, сюжетными линиями, красками, и, изнывая от жары, я строил свой обратный путь с таким расчетом, чтобы обязательно проехать через Хяядемээсте. Если будет возможность, прожить там недельку-другую, и отдохнуть, и поработать.

Теперь вот приехал и, увы, в который раз убеждался, что между художественной фантазией и действительностью лежит целая пропасть, а я стою одной ногой там, другой здесь.

Пока я стоял и философствовал, на картофельных огородах произошли какие-то осложнения. Не то лошадь запуталась в упряжи, не то ножи плужка заели, но работа вдруг застопорилась, и ребята начали тревожно оглядываться. Какие-то остатки крестьянской этики заставили пойти на выручку, и когда все было устроено, парни стали переминаться с ноги на ногу, не зная, как бы меня отблагодарить. И тогда я выложил им все свои четыре варианта. На мое счастье, они оба довольно хорошо понимали русский, и не успел я кончить, как оба показали на тот самый четвертый домик, куда я не решался входить:

— Там, у Густавсон, много комнат. Он вам сдаст.

Хотя меня это и обрадовало, я высказала опасение: понимает ли тот самый Густавсон по-русски так же хорошо, как они сами?

— О, я, он хорошо умеет.

В конце концов пришлось вернуться и переступить через свои тяжелые предчувствия — фантазия фантазией, а жизнь жизнью. Не успел я толком войти во двор, как из проема открытых дверей, прямо с крыльца, кинулись на меня две шавки. Первая, белесая, заскочила дальше, чем позволяла ей храбрость, и нужно было срочно на что-то решиться — либо хватать за ноги, либо отступить. Она нашла третий путь — вдруг приятельски завиляла хвостом и стала рядом со мной, точно я был ее хозяином. Вторая, белая, с черными разводами по бокам, остановилась на полдороге и нудно затявкала — пусть, мол, выйдет хозяин и сам разбирается, что к чему.

А хозяин не спешил. Шла минута за минутой, дворняжка то тявкала, то ловила мух. О Густавсоне не было ни слуху ни духу, и я подумал, что, верно, и тут никого дома нету. Собрался было уже уйти, когда донесся странный перестук в сенцах. Стучали деревяшкой по полу — стук, и опять тихо, и через небольшую паузу снова стук. Из сумрака сеней начал выплывать силуэт. Еще

несколько перестуков, и в светлой солнечной полосе, косо срезанной козырьком крыльца, появилось круглое доброе лицо старой женщины. Светлые льняные волосы были аккуратно зачесаны назад и по-девичьи перехвачены ленточкой, но была еще в этой фигуре какая-то напряженность, какая-то неестественная сутулость. Я подошел поближе и только тут увидел костыли.

— Извините, — сказала она на довольно чистом русском языке, — ноги больные. Врачи дали направление в Ленинград, но боюсь. Хоть ноги и плохие, но мои. Лучше деревянных.

Было в ней много здравого смысла, было чувство достоинства, и была еще та воспитанность человека из народа, которая не позволяет ему объясниться с незнакомцем, не пригласив его в свой дом. Она пригласила меня кивком, повернулась на костылях, пошла обратно, а в доме стояла та же запущенность, что и во дворе. Зная приверженность эстонцев к чистоте, я представил себе, как она страдает от этой запущенности. И, словно учуяв мои мысли, она вдруг пошла впереди меня, чтобы показать, как она ходит. Ступни ног были совсем дряблы и безжизненны — они шлепались на пол, как сырое тесто, и не то что не хватали землю мускулами, они даже, по-моему, и не чувствовали ее. Только в коленях, а может, выше, в бедрах, жило еще ощущение земли, чувство равновесия, и я представил себе, сколько надо иметь ловкости и силы, чтобы, орудуя костылями, все-таки передвигаться.

— Комнату? — переспросила она, когда мы сели в довольно большой прихожей. — У меня много комнат. Четыре комната внизу, две комната вверху. Но вам здесь нехорошо будет. Я одинокий, больной человек. Убирать не могу. А комнаты хорошие, могу вам показывает.

Отдышавшись, старушка Густавсон взяла костыли, встала, и я пошел за ней смотреть дом. Как потом выяснилось, то, что ребята называли ее «он», «Густавсон», но было большой ошибкой. В эстонском языке нет родов, и «он» может означать «она», «оно» и собственное «он». Верхние комнаты мы смотреть не стали, но четыре комнаты внизу мы смотрели бесконечно долго. Для старушки переход из одной комнаты в другую был сложнейшей работой, и, чтобы отвлечь меня от трудной и унизительной в какой-то мере техники передвижения, она принялась рассказывать, какие у нее раньше были жильцы. Жил профессор из Ленинграда, художник из Москвы и какая-то семья из Таллина по фамилии Тамм.

— У вас есть масина?

— Нет.

— Заль. Без масины здесь трудно. У них были масины.

В эстонском языке нет шипящих букв, и, привыкая к их своеобразной русской речи, я слушал, как старушка подружилась со своими постояльцами. Каждый год она получала поздравительные открытки из Ленинграда, Таллина и Москвы. В этой глуши в жизни одинокой и больной женщины эти открытки вырастали до невероятных символов, и вот она шла по коридору и гадала вслух: надо ли понимать открытки еще и в том смысле, что их авторы могут приехать отдыхать этим летом или таких намеков в открытках не было? Она была по природе своей верным товарищем, и я, подумав, сказал, что комнату профессора да еще комнату художника и, уж конечно, комнату Таммов она сдать не может.

В пыльном коридоре на стене висела скрипка со сломанным смычком. Меня почему-то поразила эта огненная птица юга, залетевшая в северные края, и я спросил, кто на ней играл.

— Муж. Он так был моложе меня и умер пять годов назад, а мне семьдесят шесть — и живу.

Сказала она это не с обычной в таких случаях печалью, а с вызовом, с гордостью, с восхищением: семьдесят шесть — и еще живет!

Была в том коридорчике еще одна высокая дверь с бронзовой ручкой. Мне показалось, что она хочет отвлечь меня от той двери, и именно потому спросил:

— А вот эта?

Она, видимо, ждала этого вопроса и вспыхнула от удовольствия.

— О, там самая большая наша комната. Там зала.

Она подошла, погладила бронзовую ручку и перед тем, как открыть, сказала:

— Этот комнат освободится… Как бы это сказать по-русски… Не завтра, а так, потом, на тот, другой день…

— Послезавтра?

— О!

— Вы ее уже сдали?

— Нет, тут никто не живет, но завтра мой день рождения. Ко мне приедет гость из Таллина.

Хотя это было и не к месту, и рановато, я все же поздравил ее с днем рождения. Она не без кокетства приняла мои поздравления и наконец открыла. Комната была на редкость чисто убрана. На маленьком столике царствовал большой букет гвоздик, в старинном подсвечнике стояли две огромные белые свечи — нигде, кроме Эстонии, я не встречал таких свечей. Высокие, чуть ли не полуметровые, на них тем же белым воском и красками были наложены какие-то таинственные фигуры, узоры,

дубовые наросты, так что каждая такая свечка, кроме свечки, была еще и произведением искусства. Мы сели. Старушка взяла со стола коробок со спичками, долго перебирала их пальцами, мучительно раздумывая про себя: зажигать, не зажигать? Они были еще совсем свежие, с белыми фитилями. Она их, видимо, готовила сама долгими вечерами и, подумав, отложила спички. Налила из графина две рюмки розовой настойки и сказала:

— Закуски нет. Сегодня буду готовить. Я умеет очень хороший пирог. Приходите завтра. Я вас угостиль.

Меня начало разбирать любопытство, и я как-то неожиданно для себя спросил:

— Если не секрет, кого вы ждете из Таллина?

Она опустила глаза и сказала доверительным тоном, каким говорят только самым близким друзьям:

— Приедет мужчина. Друг юности. Я его ровно год не видаль.

— Что же он, каждый год приезжает на ваш день рождения?

— Вас это удивляйт?

— Нет, но, признаться, в наше время…

Старушка Густавсон гордо вскинула голову:

— От когда мне биль шестнадцать лет и до этого года он только четыре раза не праздноваль мой день рождения. Три раза биль война, четвертый раз у него биль арест. Несправедливый. Его скоро отпустиль.

Я слушал разные истории из ее жизни и все время оглядывался, потому что сама комната, или зала, как она ее называла, казалась мне очень странной и замысловатой. Пол был немного скошен, в глубине какое-то странное сооружение — не то комод, не то старинные сундуки, хотя ни на комод, ни на сундуки это не было похоже. По обеим сторонам этого сооружения высокие, до потолка, в глубоких складках гардины, и висят они свободно на какой-то натянутой проволоке… Да не домашняя ли это сцена?

— Вы любите театр?

При слово «театр» она как-то вздрогнула, и ее лицо тут же засветилось.

— О, как я по сцене скучаль… С десяти лет и до пять лет тому назад, пока ноги работали, я каждый вечер выходиль на сцену. Четыреста, как это по-русски сказать…

— Роли?

— О! Четыреста роли, и сто раз я есть режиссер.

— А муж?

— Муж сцену не выходиль. Он — музикально оформлений.

— Вы профессиональная актриса?

— Как вы сказаль — професси… ональ?.. Нет, я работала

поле, коровы, швейная машинка. Но вечером мы шли свой маленький клуб тут, поселке. Я играль роль и каждый вечер приносиль домой цветы — о, как много цветов было моей жизни!..

Она погрустнела, увяла вдруг, но потом взяла себя в руки.

— Все ушло. Ну раз ушло, значит, это есть справедливо. И я не плакаль. Я не плакаль по друзьям, по земле, по молодости, а по театру я часто по ночам плакаль. Там, в новом поселке, есть кружок, а старых актрис на роли нет, режиссера нет, и душа моя хочет туда сто раз за один день, а ног нету.

Она вдруг решительно открыла коробок, зажгла обе свечи, вдохнула глубоко в себя запах горячего воска. В ее старых, выцветших глазах мелькнули два огонька, и это отражение огня как будто принесло ей облегчение. Она улыбнулась, как бы прося прощения за слабость, поправила волосы на затылке и потушила свечи. У меня на языке вертелся бестактный вопрос. Может, мне не следовало его задавать, но я ведь тоже художник, мне тоже нужно с чем-то выходить к людям.

— Скажите, а этот друг юности, который приедет из Таллина… он тоже выступал на сцене?

— Выступаль? Он и теперь играль. Сорок лет он играль герой-любовник о, какой это биль герой, какой это биль любовник! Теперь у него другой амплуа… Теперь он репетироваль…

Она не смогла перевести название пьесы, долго пересказывала содержание, из которого я в конце концов понял, что речь идет о пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца».

Разговор только-только входил в колею, но она все время теряла нить, ее, видимо, мучило, что вот же зашел человек в дом, а угостить нечем, решительно нечем. И, чтоб она не мучилась, я начал прощаться. Она встала на свои костыли. Вспомнив то дело, с которым я зашел, сказала тоном человека, много перевидавшего на своем веку:

— Ви поискаль комнату поселке — там много хороших комнат. Если не найдете, приходите, я вам сдаль комнату. Если ви займете комнату профессора, а он приедет, я поселю его у художника. Если и художник приедет, я ему дам комнату Тамм. Ну а если Тамм приедет, я сдам этот зала — после празднований день рождения я могу этот зала сдавать.

Мы долго шли к выходу, и старушка рассказывала мне про свой телевизор, про уникальную видимость, которой удалось добиться местному мастеру, и, пока она это рассказывала, у калитки остановилась знаменитая по всей нашей стране бригадирская двуколка. Молодая и сильная эстонка легко

спрыгнула с сиденья, достала из трухлявого сена большую брезентовую сумку, тяжелой, мужской походкой направилась к нам.

— Тере!

Она быстро что-то рассказывала старушке по-эстонски, а тем временем ее руки доставали из сумки хлеб, масло, какие-то пакетики, сахар, специи, видимо, то, из чего старушке предстояло печь свои знаменитые пироги. Выгрузив сумку, бригадирша достала из-за пазухи толстый блокнот, принялась уточнять по списку — что купила, а что еще надлежало привезти в следующий раз. Я видел в своей жизни бесчисленное количество колхозных бригадиров. Видел дельных и бестолковых, скромных и самодовольных, нервных и спокойных, худых и зажиревших, но никогда мне еще не доводилось видеть бригадира, который, исполняя свою службу, так, по доброте душевной, делал покупки для старого больного человека. Как бы угадав ход моих мыслей, старушка Густавсон решила позлословить:

— Нет, он не такой хороший, как ви думаль! Тут крайний домик живет пьяница. Он никогда нету дома. Бригадир его ловиль каждый день и, раз все равно дорога, покупаль мне продукты.

Бригадирша, хотя и не говорила по-русски, видимо, поняла, о чем речь. Погрозила ей пальцем, вернулась в двуколку и уехала. Я уже в третий или в четвертый раз принимался прощаться и вдруг увидел рядом с крыльцом, на высоте метра от земли, висевшее в железной скобе, прибитой к стене, круглое железное кольцо. Несколько раз мне приходилось встречать в эстонских селах такие кольца, прибитые рядом с крыльцом, да все некого было спросить об их назначении. Теперь представился случай.

Старушка улыбнулась. Облокотившись на один костыль, она достала пальцем колечко, погладила, точно оно было живое.

— Это все, что осталось от наших красивых мужчин. От Хяядемээсте.

— То есть как?

— Это кольцо они привязаль свой лошадь, когда приезжаль гости.

Мне это так понравилось, что не хотелось прямо сразу после ее ответа уходить, и, чтобы как-то выиграть время, я спросил:

— Скажите, а если бы этот ваш знакомый из Таллина приехал завтра на лошади, он бы тоже ее тут привязал?

Она ничего не ответила, но ее старое лицо озарилось вдруг, точно его осветили полным светом рампы. Она тихо, таинственно опустила взгляд, простояла секунду, счастливая, с опущенными ресницами. Она решила ответить таким способом на мой вопрос,

ответить открыто, всему миру, и в то же время, скрывая от мира, говорила одному мне, а в общем-то она и мне ничего толком не сказала. И я вдруг подумал, что она, должно быть, была великой актрисой, и было бесконечно горько, что я никогда не видел ее на сцене и так никогда и не увижу.

— До свиданья.

— До свидань.

От крыльца шли две тропинки — одна к калитке, другая, через запущенный сад, к морю. Я пошел к морю. За картофельными участками лежали одни валуны, да густая росла трава на неровной земле прибрежья. Перепуганные чайки кружили высоко надо мной, крича с какой-то тошной, почти физической болью, а над заливом величественно сияло по-летнему яркое солнце, и мелкие волны гонялись друг за другом по мокрому песку. Все оставалось, как и много тысяч лет тому назад, в бессмертном переплетении света и тени, радости и горя, жизни и смерти.

Литовские березы

Огромные, разъяренные мужицкие фигуры, увековеченные художником в момент их наивысшего гнева. На усталых, изможденных лицах следы спокойной мудрости, а в движениях — порыв безрассудства.

Эти образы порождены литовскими крестьянскими восстаниями середины прошлого века, и, помимо того благородного гнева, который вас буквально захлестывает, поражает еще фактура фигур. Это не дерево, не мрамор, не камень и не бронза. Художник работал размоченной березовой корой, наложенной на холст. Высохшая кора хотя и странновата на цвет, зато удивительно передает ощущение загрубевшего человеческого тела, того самого, о котором говорится в пословице: «Жизнь прожить — не поле перейти».

Они стоят, эти фигуры, живые, перед вами, они буквально дышат в двух шагах, а скромная сотрудница музея тихим голосом, чтобы не нарушить атмосферы глубочайшей народной драмы, рассказывает, что секрет того, как создавать фигуры из холста и размоченной березовой коры, к сожалению, утрачен. Умершая не так давно скульпторша унесла его с собой, так никому и не поведав тайну своего искусства.

Поначалу это меня поразило — возможно ли, чтобы в нашем XX веке, когда ни королевские дворы, ни сверхсекретные концерны, ни бронированные дипломатические архивы не могут хранить полноту тайн, возможно ли, чтобы скульптор ушел из жизни, никому не рассказав, из чего и как он лепит?! Оказывается, возможно. Это даже очень просто сделать в том случае, когда скульптор при жизни никому не известен как скульптор.

Она жила на окраине Каунаса — одинокая, тихая модельерша, делавшая чудесные дамские шляпки для своих соотечественниц. По воскресеньям она уходила за Неман, в лес по грибы, и никому даже в голову не приходило, что эта хрупкая женщина глубокими ночами в своей мастерской занимается художественной лепкой. Она была бесконечно трудолюбивой, она проработала над этими фигурками около двадцати лет — без договоров, без похвал, без естественного желания увидеть свои работы выставленными. Она умерла, почти завершив весь этот огромный труд. Некоторое время спустя после ее смерти дальние родственники художницы, убирая в мастерской, сдернули высокий занавес, скрывавший весь угол, и перед ними выросла эта масса бунтующих литовцев.

Удивительнее всего то, что сама скульпторша родилась и всю жизнь прожила в Каунасе. Причем родилась она чуть ли не полвека спустя после тех событий. Она ни у кого не батрачила, у нее не было даже навыков жительницы деревни, она не знала, в какие сроки сеять ячмень и как варить из него пиво. И возникает, естественно, вопрос: откуда, как могли взорваться в душе городской модельерши ненависть и горе литовских крестьян, восставших за полвека до ее рождения?

Оказывается, предки скульпторши погибли во время тех восстаний. Она их и в глаза не видела, она вообще очень мало знала о них, но, гуляя воскресными днями с грибной кошелкой по лесу, она, видимо, подолгу задумывалась над их судьбами. Свинцовые воды Немана, и густо-зеленая трава, и леса прозрачного севера пробудили в ней давнюю боль своих сородичей. Я даже думаю, что впервые она увидела на живых березах эту огрубевшую человеческую кожу и только потом нашла способ ее воспроизвести на холсте. Мудрость и неторопливость простых людей, любящих все делать своими руками, навели ее на верный след, и после двадцати лет труда она свершила то, что не под силу было литовским бунтарям сто лет назад. Она увековечила их в минуту благороднейшей борьбы и тем самым сделала их победителями.

Одна из самых больших загадок искусства — это пути, по которым движется художественная энергия к своему воплощению. Эта боль о жертвах восстания носилась в воздухе и год, и два, и еще почти сто лет, пока не взорвалась в душе великого художника. Вообще нужно сказать, что временами поражает умение истинного таланта вглядеться в предмет, в образ, постичь его суть через годы, через века, через немыслимые расстояния, и, уж попав в Каунасский музей, было бы грешно не сказать хотя бы несколько слов о художнике, чье имя носит музей.

Два маленьких зала, в которых выставлен Чюрлёнис, изматывают человека совершенно. Если верно то, что искусству присуща некоторая загадочность, то для литовского искусства это характерно в высшей степени, а уж сам Чюрлёнис — это просто коронованная загадка. Выдающийся композитор, он в течение полутора-двух лет создал около ста картин и рисунков, которые буквально взорвали художественный мир Европы. О нем писали и Горький, и Ромен Роллан. В самом начале нашего века, когда мир, уставший от великих открытий, ушел с головой в житейские утехи, Чюрлёнис уже прорубал окно в космос. Он изображает на своих картинах Землю, увиденную с огромного расстояния, маленькой точкой среди созвездий, он заставляет наш дух опускаться на чужие планеты. Он потрясает наше воображение

все пожирающими огневыми пустынями — и это в то время, когда не было ни атомной энергии, ни ракет, ни космических полетов!

К слову сказать, одно из самых больших достижений литовской культуры это ее масштабность. Мне кажется, что из всех наших национальных муз литовская муза залетает дальше всех. Иногда она забирается в такие дебри, что просто страшно за нее становится: вдруг заблудится, вдруг не сможет вернуться к родному гнезду?

Литовские художники неистовы в поисках сути вещей. От скромного ремесленника, стругающего деревянных чертиков для вильнюсского базара, и до Эдуардаса Межелайтиса, поэта широчайшей известности, в Литве все заражены масштабностью, все ищут наиточнейшую и наикратчайшую формулу человеческой жизни…

Что мне особенно близко и дорого в литовской культуре — ее добротность и легко просматривающиеся крестьянские корни, придающие этой культуре некую шершавую документальность и убедительность. От «чистого художественного вымысла» читатель устал, он ему не верит, он требует от каждого произведения дыхания документа, он требует с первых же строчек от автора — назвать, какую цену тот уплатил, чтобы иметь моральное право нести ему, читателю, эти истины. Литовцы это поняли давно, и новым стилем они владеют просто и свободно. Вот несколько строчек из книги Межелайтиса «Лирические этюды».

«Здесь, на берегу Крои, впервые услыхал я соловья и долго с ним не расставался. Тут подружился с белогривой березой, с пестрым миром птиц, зверьков, рыб, насекомых. Здесь же я осознал, что человек на свете не одинок. Земля, солнце, луна, деревья, птицы — вся природа, взятая вместе, его добрые друзья. А дерево живое, как и я. Из его раны так же сочится тускло-зеленая кровь, как и из моего порезанного пальца — красная. И нельзя разорять птичьи гнезда, потому что жизнь, как ястреб, безжалостно раскидала нашу собственную семью, а меня, еще не оперившегося птенца, вышвырнула в осеннюю непогодь. Через черную корку хлеба, через ягоды и коренья впитывалась в мои жилы земля — ласковая, мягкая, теплая, дымящаяся паром. И уже не кровь текла по моим жилам, а соки хлебов и берез».

И снова березы — о, эти литовские березы! Воистину неограниченна их власть над всем тем, что созидается в этом крае.

Березы, хлеб и мужество, потому что, конечно же, в литовской культуре много мужества. Особенно это явление поразительно, когда оно встречается у женщин. Я даже думаю, что присутствие духа того или иного народа надо отличать не

столько по мужчинам — им сам бог велел быть таковыми, — сколько по женщинам. И перед тем как закрыть книгу Межелайтиса, хочу привести еще одну цитату, имеющую прямое отношение к предмету разговора. Поэт вспоминает, как в трудный сорок второй год навестил жившую тогда в Москве классика литовской литературы Саломею Нерис:

«Наша замечательная поэтесса затворилась в своей скромной комнатке, словно улитка в раковине, будто спряталась от чужих взглядов, решив одна переболеть своим недугом — тоской и горем. И не видно было, откуда, как рождаются выстраданные ею строки, но почти каждую неделю появлялись в печати ее стихотворения».

Несколько ниже Межелайтис приводит одну строфу, написанную в те трудные годы:

Пой, сердце, припомни все свои мечты,
Пой в нескончаемой тревоге,
А если смолкнешь — станешь камнем ты,
Тебя затопчут на дороге.

Просто удивительно, что писалось это, когда Европа содрогалась от грохота стали, что родились эти строчки вдали от родного дома и написаны были слабой женской рукой…

Место, где упал художник

День был пасмурный, дорога не очень хорошая, автобус несся на большой скорости, как-то странно вибрируя, так что в конце концов всех нас укачало. За окном стелился красивый и загадочный, уже в середине августа по-осеннему задышавший прибалтийский пейзаж. Все ярко, художественно, весомо. Пастбище, пруд, перелесок. Еще перелесок. Еще пастбище. Еще пруд. От частых дождей пастбища по-весеннему сочные, перелески — избалованная уходом ель, что ни ель, то корабельная мачта, а пруды красивы и недоступны. Крутой, обрывистый берег, свинцовая, холодная вода.

Посевов очень мало. Редко когда покажется клин в три-четыре гектара, засеянный рожью, или аккуратное поле картофеля. Зато пастбищ много, и из-за каждого поворота встречает нас стадо коров. Скот породистый, бело-черный, европейской масти. Живется ему тут, видать, привольно, и на стадо в сто коров разве что молодая телка проявит интерес к нашей поездке и, оторвавшись на две минутки от травы, проследит за нашим автобусом, гадая про себя: кто такие, куда едут?

Какая-то печальная малолюдность вокруг. Ни встречного, ни обгоняющего транспорта. Ни пастухов, ни доярок, ни сдатчиков, ни приемщиков молока. Три часа езды на машине, а вокруг одни пастбища, одни коровы. Еще, правда, чуть ли не на каждом повороте деревянная подставка под крошечным навесом. На подставке один или два бидона. Утром они полные, затем машины увозят молоко, а вечером те же бидоны стоят, но уже пустые. И, видимо, оттого, что дорога была длинной, и день пасмурный, и автобус дребезжал, мне почему-то начало казаться, что эти коровы сами себя пасут, сами себя доят, сами ведут учет сданного молока. И это было тем более непостижимым, ибо к тому времени я уже успел пожить на Рижском взморье, уже знал, что такое прибалтийское молоко. То, что в Москве считается сливками, в Латвии именуется обыкновенным молоком и продается в любом магазине по тридцать копеек за бутылку. Не говоря уже о том, что таких милых и вежливых продавщиц, как в Латвии, редко где встретишь. Каждая из них кажется случайно попавшей в торговую сеть, каждую хочется порекомендовать какому-нибудь кинорежиссеру, но в Латвии, увы, как и везде, очень мало кинорежиссеров, способных с ходу заразиться хорошей идеей и довести ее до конца.

Кстати, о кино. Микроавтобус, па котором мы ехали,

принадлежал Рижской киностудии. Шофер, красивый молодой блондин, каких в Латвии великое множество, испытывал нас на прочность. Внутренности машины дребезжали, мы держались, кто за что успел уцепиться, и делали вид, что не замечаем, как всем нам плохо. Мои спутницы, четыре латышские журналистки, сложив вместе весь свой запас русских слов, объясняли мне значение творчества братьев Клаудзит для латышской литературы. Это мне нужно было знать потому, что ехали мы в музей братьев Клаудзит. Я слушал разные перипетии, связанные с появлением в свет единственного романа этих двух братьев — «Времена землемеров», — и корил себя за бесхарактерность. Ведь надо же быть таким дураком — жить возле Риги, где такое множество первокласснейших памятников, где нет числа литературным и прочим музеям, и трястись по плохим дорогам триста с лишним километров, чтобы осмотреть музей двух братьев, написавших всего один роман.

Через какое-то время притомились и мои спутницы. Они оставили литературу в покое и перешли на латышский язык, предварительно поставив меня в известность, что речь пойдет о тряпках. В Латвии, как и в других наших республиках, сельские магазины вдруг могут обрадовать красивыми дефицитными товарами, и важно заранее разобрать существующие сплетни, прикинуть, чем и где можно обзавестись. Предоставленный самому себе, я прилип к окошку машины, смотрел на все, что попадалось в поле зрения, и гадал. В этом, видимо, и кроется суть путешествий. Помните, как Гоголь описывает это ощущение? Едешь себе, видишь церковь и гадаешь: а интересно, что за священник в том приходе, и что собой представляет матушка, и есть ли у них красивая молодая дочка?

Церкви нам, что верно, не попадались, но почти на всем пути мелькали на поворотах старинные каменные строения. И фасад, обращенный к дороге, и остатки погребов, и навесы конюшен — все это говорило о том, что в старину здесь можно было отдохнуть, выпить стаканчик, покормить лошадей. Теперь другая эпоха, другие кони. Мы несемся в дребезжащем автобусе, а шумевшие некогда дорожные корчмы, пустые и заброшенные, вросли по самые крыши в землю, заросли сорняками. Но мы путешествуем, а это делается, как и сто, и двести лет назад, и вот сижу я у окошка и гадаю про себя: интересно, как выглядели раньше хозяева этих дорожных заведений, и хорошо ли у них шли дела, и были ли у них красивые молодые дочери?

Часа через два после того, как мы выехали из Риги, наша поездка стала постепенно осмысливаться. Все-таки, что ни говорите, а жизнь есть движение. Кроме того, здравый смысл

всего этого предприятия начал проступать особенно ярко после первого дорожного указателя. Представьте себе — в ровном поле, ничем не отличающемся от соседних полей, вдруг выросла рядом с дорогой табличка и красиво выведенными буквами сообщила нам, что до музея братьев Клаудзит осталось еще девять километров. На первый взгляд особой надобности в этом указателе не было — ни перекрестков, ни крутых поворотов, но кто-то, видимо, следил за нами, понимал, что едем мы издалека, измотались, и вышел облегчить нам душу, сообщив, сколько еще ехать.

Ну чего-чего, а предупредительности латышам не занимать, и с легкой руки этого первого сообщения таблицы и указатели уже не спускали глаз с нашего автобуса — они советовали шоферу сбавить немного той дьявольской скорости, быть осторожным на поворотах и все высчитывали, сколько еще километров — семь, пять, три. После первой же вывески мои спутницы вдруг умолкли. На их лицах появилось серьезное, я бы даже сказал — религиозное выражение. Они стали вдруг латышками, они приближались к национальной святыне, и это ощущение предстоящего момента заражало все вокруг.

На холмике стоял одинокий, добротно построенный когда-то дом, а из-под высокой одряхлевшей крыши выглядывали окна второго этажа. Фасад дома, простой и открытый, как и все, что строилось в XIX веке, — четыре окошка, дверь посередине, а рядом с дверью табличка с одним-единственным словом. Не то название улицы, не то фамилия мастера, построившего это здание. Я спросил, и мне объяснили, что это название дома, его имя. То есть как имя? Да вот так, имя. Потому что, если бы тут была деревня или хутор, то ведь у них было бы свое название? А почем мы знаем, был тут хутор или нет? В Латвии каждый одинокий домик среди зелени — это или бывший, или будущий хутор. Скорее всего перед нами стояли остатки старого хутора. Оставшись один, этот домик хранит название, и это название будет живо, пока будет стоять дом. Я очень сожалею, что не запомнил это название. Не записывать, а просто так, с ходу нужно бы прочесть и запомнить — право же, этот вымерший хутор заслуживал того.

Рядом с домом асфальтированная стоянка для автомашин. Стоянка, рассчитанная примерно на тридцать-сорок машин, но что-то пусто было на той стоянке. Тут же навес, скамеечка для ожидающих попутного транспорта, на скамеечке тоже было пусто. А рядом висела табличка, из которой явствовало, что один день в неделю, в понедельник, музей закрыт. А был тот день, конечно же, понедельником.

Молчавший всю дорогу шофер каким-то непостижимым образом услышал, что далеко, в глубине сада, кто-то косит траву. Это немного обрадовало нас, потому что неприятно приехать за триста верст и увидеть закрытый музей. Мы пошли цепочкой по тропинке за шофером и обнаружили в глубине сада высокого худого латыша. Он почему-то очень смутился, точно косил на чужом участке, и мы как-то застряли на полпути, отвернулись, и один шофер подошел к нему. Был очень короткий разговор, две-три фразы всего. Потом косарь ушел, мы сели на свежевыкошенную травку, благодарные ей за то, что она никуда не несется, не дребезжит, и хотелось перенестись хотя бы на один миг в тот прошлый, XIX век, чтобы вот так посидеть вволю и никуда не торопиться.

Минут через двадцать приехал на велосипеде экскурсовод. Черный костюм, безукоризненная белая рубашка, галстук, и только не успевшая еще остыть тяжесть рук и определенный ритм движений выдавали в нем недавнего косаря. Теперь он сам подошел к нам, представился, и мы пошли к дому. У входа он посмотрел на меня, начал свой рассказ на латышском и потом целый час смотрел почему-то все на меня и говорил только на латышском, точно надеясь, что в конце концов я проникну в причудливую вязь чужой мне речи и лучше пойму, чем через переводчика. И, странное дело, теперь, восстанавливая в памяти посещение того музея, я отчетливо слышу его голос, мне кажется, что я помню целые фразы, произнесенные им, и хотя по-прежнему не знаю смысла тех слов, я дополняю их увиденным в музее, и эти фразы становятся для меня документом, обладая истинностью и неподдельностью настоящего документа.

В сенцах нам раздали мягкие тапки, которые следовало надевать прямо на обувь. За всю жизнь я только в двух музеях надевал такие тапки — в Ясной Поляне и в Шереметьевском дворце. В яснополянский дом просто безнравственно входить без тапок; в Шереметьевском дворце уникальные паркетные полы, а тут, в поле, за триста километров от Риги, где одни перелески да бидоны с молоком!

В отличие от яснополянского и шереметьевского латышский экскурсовод и сам надел такие же тапки, и это меняло дело. Дом был холодный, нежилой, но остатки какого-то древнего порядка и уюта еще сохранились. Первая комната обыкновенная деревенская комната, чуть просторнее, с двумя печками, с партами. Они были, конечно, удивительными людьми, эти братья. В конце прошлого века пришли они в эти края — один с дипломом учителя, другой со страстным желанием помочь брату, с тем, чтобы потом и самому стать учителем. Они сами построили

дом, сами выстругали доски для парт, а в соседней комнате стояли койки, потому что в ненастную погоду или бездорожье ученики оставались на ночь. Они кормили, одевали своих учеников, а когда не на что было жить, братья становились столярами, мастерили колесные прялки и продавали их на ярмарках.

Это были писатели-сподвижники, писатели-народники. В своей деятельности они совмещали все — от обучения алфавиту до разработок основ национального литературного языка, они участвовали в политических схватках и сажали на своей северной земле южные яблони. С упорством самоучек путешествовали они по европейским странам. Из всего, что они увидели, были выведены некие правила для честного сельского интеллигента, и, раз приняв их, они им следовали с невероятной точностью. Они любили мировую культуру, любили ее сами открывать. Начав с азов, они уже не доверяли авторитетам, они старались все осмысливать заново, и самое примечательное в этом музее — это выставка фотографий выдающихся личностей всех времен и народов в той последовательности, которая казалась им наиболее верной; братья Клаудзит вырезали из журналов фотографии, потом для этик фотографий долгими зимними вечерами вырезали из дерева рамки, украшая их оригинальной инкрустацией. На длинной стене в спальной, на втором этаже, около четырехсот фотографий, четыреста пожелтевших изображений, четыреста оригинальных, ничем не повторяющих друг друга рамок. Единственно, что у них общее, — это размер. Только в самом центре из чуть большей, чем обычные, рамки глядит вечно сердитый и недоверчивый яснополянский старик.

Внизу, на первом этаже, мраморный, или, как он назывался в семье, белый зал. Большая комната, кресла, пианино, паркет. Вернее, это вовсе не паркет. Путешествуя по Европе, братья увидели паркет, но не знали, как его сделать, и тогда на дощатых полах появилось тонкое покрытие воска, на воске рисунок, и все это хранится уже с полвека, и все это прекрасно, и до сих пор специалисты не возьмут в толк, как это сделано. Братья Клаудзит принадлежали к той удивительной породе людей, которые стремились все сделать своими руками, и эти люди меня всегда восхищали, я всегда завидовал их упорству и умению.

Рядом с домом еще два подсобных помещения. Одно из них — столярная мастерская с невероятным количеством инструмента, другое — нечто вроде кладовой. И, возвращаясь из этой кладовой обратно в дом, на полдороге, рядом с тропинкой, я увидел огромную глыбу из красного мрамора. Сами братья похоронены в двух километрах, на холме, там свои памятники,

но, думал я, что бы могла означать эта глыба мрамора тут, возле тропинки? Заметив мое недоумение, экскурсовод остановился, сказал тихо и печально, впервые заговорив по-русски:

— Это то самое роковое место, на котором упал последний из братьев.

— То есть как упал?

— Он нес из сарая в дом кошелку с яблоками. Была осень, в тот день как раз был сбор яблок. Он нес кошелку и на этом самом месте упал. У него было слабое сердце.

— И что же, тут и умер?

— Нет, зачем же. Умер он весной следующего года, но упал здесь, где стоит мрамор.

К вечеру пошел дождь и как-то потеплело. Мы возвращались по хорошей дороге через Цесис. Машина мчалась на большой скорости, но уже не дребезжала, и мы сидели тихие, просветленные. Видимо, что бы нас ни заботило, основная проблема человека, проблема всех проблем — это вопрос: как жить дальше? Мы бьемся над этим день и ночь, из смутных очертаний завтрашнего дня, стоящего перед всем миром, высекаем посильную задачу для себя, затем все это соотносим и опять заново ищем и бьемся. Это занимало нас еще утром того дня, еще несколько часов назад, и вот мы утихли. Мы уже знали, по крайней мере, на какое-то время знали, как дальше жить.

А еще я думал, сидя у мокрого от дождя окошка: какое, должно быть, счастье родиться латышским писателем, работать для народа, который воистину любит своих художников, знает о них все и ставит им памятники не только на площадях и могилах, но и на тех роковых местах, где им суждено было пасть.

Моцарт в конце лета

Сосны, березы, и вот меж ними снова светится голубизна, и вот мы снова выбираемся к голубому простору, к этому извечному богу северной красоты. По песочному пляжу идет старый латыш в поношенной полотняной кепочке, в таком же поношенном полотняном костюме. Его тут знают почти все. В самые жаркие дни лета он появляется вдруг на пляжах Рижского залива. Идет уныло, таща на себе складной алюминиевый столик, тоже складное и тоже алюминиевое креслице. Идет, волоча по песку старые, истоптанные ботинки, идет сосредоточенный, задумчивый, ничего не видя и не слыша вокруг…

Многим, наверное, ведомо, что такое жаркие дни лета на Рижском взморье. Утверждают, что при хорошей погоде этот курорт не знает себе равных в мире, и, видимо, так оно и есть. Ленточка горячего песка в пятьдесят-шестьдесят километров, чуть выгнутая дугой, окаймленная с одной стороны хвойным лесом, а с другой, на сколько видит глаз, голубым морем Балтики. Немыслимое количество народа. Дети, взрослые, молодежь. Особенно молодых, особенно женщин много. Бесчисленное море молодых тел — только глаза чуть прикрыты темными очками, или пластмассовым козырьком, или зачитанной книжкой, и в этой атмосфере карнавала и визга купающихся трудно представить себе что-либо более смешное, более нелепое, чем этот старый латыш в истоптанных ботинках.

Правда, нужно отдать ему должное — на него совершенно не действует окружающая среда. Ему, видимо, дело представляется следующим образом. С одной стороны — голубое море, с другой стороны — море загорающего люда. И там и тут плещутся волны, шепот и рокот вечной стихии, а он идет себе по мокрой полоске песка, погруженный в свои размышления, как древний философ, и, только пройдя ему одному известное расстояние, где-то между Майори и Дубулты, сворачивает с пути, находит свое излюбленное местечко, расправляет кресло, стол. Достает из кармана пачку тонких, прозрачных билетов, коробочку из-под красной икры, в которой у него хранятся деньги для сдачи. После чего снимает пиджак, вешает его на спинку алюминиевого кресла, с тем чтобы, насколько это позволит майка, подзагореть — больше он ничего не может с себя снять по причине предстоящего исполнения служебных обязанностей. И, закончив со всеми этими приготовлениями, садится и оповещает хриплым, старческим голосом:

— Домский собор! Хор и орган! «Реквием» Моцарта.

Разомлевший на солнце курортный люд улыбается — ну что за блажь будоражить публику при такой погоде! Ведь состоится это представление, на которое он предлагает билеты, еще очень и очень не скоро — недели через две-три, — и конечно же, никто не спешит покупать билеты. Кому охота бросать пляж, тащиться бог знает куда за деньгами или занимать у тех, кто взял деньги с собой. Старик, однако, не уходит. Упорно и методично, каждые пять-шесть минут, предлагает он билеты на концерт, и в конце концов находятся чудаки, которые бегут за деньгами. Вокруг алюминиевого столика собирается толпа, люди о чем-то долго толкуют со стариком, и на тех, кто покупает в этот жаркий день билеты, смотрят не как на идиотов, это было бы слишком сильно сказано, но как на чудаков из провинции смотрят наверняка.

А потом проходят дни… Погода на Рижском взморье неустойчива. Об этом знают все, но не все верят — думают, а вдруг однажды, как раз в их приезд, она возьмет да станет устойчивой. А этого, увы, опять же не случается, и после двух-трех дней хорошего купания идут дожди. И еще два-три пасмурных дня, и опять солнечно, но дует сильный ветер с моря — купаться и загорать, конечно, можно, но удовольствие уже не то…

А за всеми этими перипетиями время бежит, и уже отпуск на исходе, пора подумать о доме, о семье, о своем возвращении. Надо купить подарки для родных, и женщины бегают по магазинам за сувенирами. Надо хотя бы бегло осмотреть чудный город Ригу, кто знает, когда еще доведется заехать в эти края, и люди несутся смотреть Ригу. И еще нужно что-то отъезжающему курортнику. Нужно немного соли на весь этот месяц сладкой лени, нужна капля серьезности на весь тот поток хорошего настроения, нужно зрелище, нужно небольшое потрясение, так, чтобы потом долго помнить. И тут выступает в утренней голубизне, возвышаясь над всем этим краем, острый шпиль Домского собора. То-то афиши захлебывались на всех заборах. Самый крупный в Европе орган, прекрасный латышский хор, известный дирижер из ГДР и великое творение гениального Моцарта. И вот уже тысячи людей кидаются на поиски того самого старика в полотняном костюме и стоптанных ботинках, а пляж пуст, залит разбушевавшимся морем, и только чайки кружат над красными буями, обозначающими границу, дальше которой купаться запрещено.

Курортники — народ отдохнувший, цепкий. Они обегают все театральные кассы, но билетов нет. Они пытаются через знакомых, через какие-то стародавние связи достать билет, потому что в самом деле немыслимо уехать с Рижского взморья,

не побывав в Домском соборе, но, увы, все впустую. И наступает день, когда те самые провинциальные чудаки, которые неслись по всему пляжу за деньгами, надев на себя самое что ни на есть нарядное, садятся в электричку и, важные, торжественные, счастливые, едут на концерт в Домский собор.

Толстенные, двухметровые кирпичные стены, стрельчатые двадцатипятиметровые своды, звук голоса и органа тает где-то в вышине, огромные готические окна, украшенные неповторимыми витражами из цветного стекла, суровость и торжественность — таков Домский собор.

В Лондоне в собор святого Павла каждый год привозили старого, восьмидесятилетнего архитектора, построившего собор. Привозили старика по его же просьбе в день его рождения. Он был настолько слаб, что не мог ни на ногах стоять, ни головы повернуть, но просил, чтобы кресло для него ставили в центре собора, под главным куполом, потому что, говорил он, в этом месте чувствуешь черепом, как струится и полощется высота свода над тобой.

В Домском соборе человек тоже чувствует черепом, как полощется высота. Такая тишина, что шаги запоздавших раздаются в вышине как обвалы в горах, и слабый шелест программок оборачивается лесным гулом в непогоду, и даже простой скрип стула вдруг взвивается криком чайки, провожающей корабли… Но вот на высоких балконах появляются хористы. Они кланяются аплодирующей публике, потом и сами кому-то аплодируют, и появляется дирижер. Последней вырастает над балюстрадой голова таинственного органиста, и вместе с опущенной палочкой дирижера выплывает на горизонте удивительное сплетение таинственных звуков.

Потом наступает тишина, и в той тишине «Реквием» Моцарта открывает свои ворота, и вихрь срывает вас с кресла и вносит в мир великих истин. Мужские голоса, опора жизни, властно правят миром, но вот, поди ж ты, тают, рушатся опоры жизни, и уже под сводами собора рыдают прекрасные голоса одиноких женщин. Их плач сокрушает своей болью, но нет же, еще не все потеряно. Горе находит в себе мужество обретать заново силу духа. Мужские голоса спешат на помощь, они идут, созидая и утверждая, они оборачивают слезу горя в слезу радости, и уже не плач, а гимны сотрясают высокие своды Домского собора. Но, увы, все в жизни течет, все изменяется, и снова одни осколки, одна пыль и одинокий голос рыдающей женщины…

И уже не к Моцарту, а к вам приходит богатый незнакомец заказывать мессу, и вы гордо, не ведая того, что творите, принимаете заказ. И начинаете безжалостно ворошить

собственную жизнь, чтобы создать наиискреннейший плач о жизни и смерти незнакомого вам человека. Вы художник, вы исполняете заказ, но глина, из которой вы лепите, — это ваша собственная душа, ваша жизнь, ваша судьба — другой глины у вас нет и быть не может. Вы проводите дни и ночи в трудах, и вдруг на этих бессмертных пересечениях собственной жизни и законов искусства вы начинаете понимать, что, создавая плач о незнакомце, вы оплакиваете самого себя, а плача по самому себе, вы даруете жизнь всему миру.

И как это важно, и как это нужно, чтобы, безмерно гордясь силой и мужеством человека, отдавая должное его заслугам и подвигам, увидеть, хотя бы раз в год, хотя бы мельком увидеть его маленьким и незаметным под этими грохочущими сводами. И как это важно, и как это нужно, чтобы человек, создающий мессу для богатого незнакомца, понял бы, что с этой мессой могут проводить в последний путь его самого…

О вы, бессмертные мастера XVIII века, что же вы так искусно замуровали все входы в ваши храмы красоты, так что многие поколения блуждают вокруг и начинают уже как бы чуждаться и вас самих, и ваших творений — до того все закрыто, до того все недоступно. Или вы опасались, что проникнут в эти храмы варвары и все разрушат, или вы мудро решили, что неведомое всегда шире и прекраснее, чем познанное? Или вы это сделали во славу искусства, чтобы гении всех времен платили всегда одинаково высокие цены за свои творения?

Поздно вечером, после концерта, город кажется не то что опустевшим — он почему-то вымершим кажется. Идешь по каменным мостовым и слышишь звук своих собственных шагов. Вереницы усталых, но осененных странным отсветом вечных истин медленно плетутся к вокзалу, к пригородным поездам, и провожает их с размокших после прошедшего дождя афиш силуэт великого музыканта. Размытый дождями, он все еще молод, в расцвете сил, и этот дух, скошенный на лету, в самом зените, будет долго еще отдаваться острой болью, пока вы будете идти к вокзалу под звуки собственных шагов.

1970

Комментарии

«Моцарт в конце лета». Большая часть очерка печаталась частями в «Литературной газете»: «Глыба красного мрамора», «Березы, хлеб и мужество». В 1974 году очерк был полностью опубликован в издательство «Молодая гвардия» в сборнике «Возвращение на круги своя».